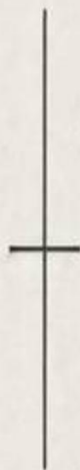


АЛЕКСАНДР Х



ВОЛЧИЙ РЫНОК

— ТЁМНАЯ СТОРОНА БИЗНЕСА —



— БЕРЛ ТАВИЕВ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СТРОИЛ ИМПЕРИЮ,
НО ТЕПЕРЬ ЕГО ТЕРМИНАЛ СТАЛ МИШЕНЬЮ —

Александр Х
Волчий рынок

«Автор»

2026

Х А.

Волчий рынок / А. Х — «Автор», 2026

«Волчий рынок» — беспощадная анатомия теневого бизнеса, где закон уступает праву сильного. Берл Тавиев двадцать пять лет строил империю, но теперь его терминал стал мишенью для циничного финансиста, коррумпированных генералов и рейдеров. В мире, где компромат дороже денег, а союзники предают раньше врагов, выживает не самый честный, а самый хитрый. Жесткий триллер о цене выживания в системе, которая всегда голодна.

Содержание

ГЛАВА 1. РУКОПОЖАТИЕ	6
ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ	12
ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИЯ — ПЕРВЫЙ АКТИВ	20
ГЛАВА 4. ЧУЖИЕ РУКИ	26
ГЛАВА 5. РАЗГОВОР ПО-ХОРОШЕМУ	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Александр Х Волчий рынок

Эта книга описывает реальные механизмы теневого бизнеса на постсоветском пространстве. Все описанные методы действуют или действовали. Некоторые имена и детали изменены, но механики — нет. Автор не даёт инструкций. Автор показывает анатомию. Если вы узнали себя — это не случайность. Если вы хотите применить прочитанное — учтите: знание метода не защищает от последствий. В реальном мире за каждую схему кто-то заплатил. Часто — собой.

ГЛАВА 1. РУКОПОЖАТИЕ

За полтора часа до того, как Берл Тавиев впервые пожмёт руку человеку, который будет методично разбирать его жизнь на части, он стоял у окна своего кабинета и смотрел, как дождь заливает парковку перед офисом. Стекло было тонированным в пол — дорогое напыление, почти зеркало снаружи, — и мир за этим стеклом казался приглушённым, как старая фотография. Дождь шёл третий день. Тавиев не любил дождь — он напоминал ему осень девяносто четвёртого, когда он сидел без света в арендованном подвале и считал патроны, оставшиеся после того, как его первый склад вынесли подчистую люди, которым он недоплатил за «крышу».

Сейчас у него было четыре завода, семнадцать складских комплексов, доля в портовом терминале и триста сорок человек персонала. Ещё у него были привычки, которые он не афишировал. Например, в нижнем ящике стола, под стопкой старых актов, лежал заряженный ПМ с затёртыми номерами. Он лежал там пятнадцать лет, и Тавиев ни разу его не доставал. Но каждое утро он открывал ящик, смотрел на него и закрывал обратно. Это было не суеверие — это была память о том, как быстро всё может кончиться.

Сегодня ему предстоял ужин. Не деловой в том смысле, в каком это понимают наёмные менеджеры. Ужин, на котором решалось, будет ли его холдинг жить дальше или начнёт медленно умирать, отдавая по куску тем, кто умеет ждать.

Он вызвал водителя.

Пинхас Гольдштейн приехал в ресторан первым, хотя его никто не ждал так рано. Он вообще делал всё немного раньше, чем нужно, — на пять минут, на семь, на пятнадцать. Это была привычка, выработанная за сорок лет в бизнесе, где опоздание иногда стоит не контракта, а жизни. Он сидел в дальнем углу зала, за столиком, который не просматривался ни с улицы, ни от входа, ни от барной стойки. Спина к стене. Лицом к двери. Место он выбрал сам — ещё утром его человек заехал в ресторан и договорился с администратором, чтобы именно этот столик держали свободным вне зависимости от брони.

Гольдштейн заказал чай. Чёрный, без сахара, в фарфоровом чайнике. Он не пил алкоголь на таких встречах уже двадцать лет — не из принципа, а из понимания, что голова должна быть ясной до последней секунды. Пьяный партнёр — управляемый партнёр. Пьяный ты — мёртвый ты. Простая арифметика.

Официант принёс чай, поставил на стол, спросил, будет ли что-то ещё. Гольдштейн посмотрел на него — не резко, без вызова, просто поднял глаза — и официант почему-то решил больше не подходить к этому столику без вызова. Такое случалось почти со всеми, кто видел Гольдштейна впервые. Он не был крупным. Не был шумным. У него было лицо человека, который знает, сколько стоят почки на чёрном рынке, — не потому что торгует ими, а потому что однажды ему предлагали купить. И он отказался. Но цифру запомнил.

Сегодня он сводил двух людей. Берла Тавиева — человека старой школы, который строил бизнес на связях и терпении. И Зораха Мейлаха — финансиста новой волны, который строил бизнес на том, что умел считать быстрее других и не испытывал потребности в партнёрах дольше, чем это было выгодно.

Гольдштейн знал обоих. Знал про Тавиева то, что Тавиев думал, будто никто не знает. Знал про Мейлаха то, что Мейлах сам про себя предпочитал не вспоминать. Именно поэтому он сводил их — не для того чтобы помочь, помогать ему им было незачем, а для того чтобы посмотреть, что будет, когда старый хищник встретится с молодым и оба будут считать, что контролируют ситуацию.

Тавиев вошёл ровно в восемь. Без опоздания, но и не раньше — он тоже понимал цену времени. Одет был дорого, но без крика: тёмно-синий костюм, сшитый на заказ у портного, который обшивал ещё его отца; запонки без камней, но с гравировкой, которую можно было

разглядеть только вблизи; туфли, начищенные так, что в них отражался свет. Он выглядел как человек, который заработал деньги достаточно давно, чтобы перестать ими хвастаться.

Гольдштейн отметил про себя: Тавиев похудел. Не критично — килограмма на три-четыре. Но для человека его возраста и комплекции это могло означать две вещи. Либо он на диете, либо у него проблемы, которые не дают ему есть. Гольдштейн склонялся ко второму.

— Пинхас, — Тавиев протянул руку. Рукопожатие было сухим и крепким — ровно на три секунды, не дольше. Именно столько жмут руку люди, которые когда-то здоровались на рынках и помнят, что затянутое рукопожатие — это либо лесть, либо попытка прощупать дрожь в пальцах.

— Берл. Садись. Чай будешь?

— Пока нет. Мейлах приедет?

— Приедет. Он всегда опаздывает на четыре минуты. Говорит, что это его способ проверять, умеет ли партнёр ждать. Я думаю, ему просто нравится, когда его ждут.

Тавиев сел. Спина к стене — нет, он сел лицом к двери, но справа от Гольдштейна, так что стена оказалась сбоку. Это была ошибка, которую Гольдштейн отметил и не стал исправлять.

Зорах Мейлах действительно опоздал на четыре минуты. Он вошёл стремительно — не так, как входят люди, которые спешат, а так, как входят люди, которые хотят, чтобы все обернулись. Высокий, поджарый, в костюме на полтона светлее, чем требовал сезон. Он носил очки в тонкой золотой оправе, хотя зрение у него было почти идеальное — очки были частью образа, как и привычка поправлять их указательным пальцем, когда он слушал собеседника. Это создавало впечатление, что он всматривается в суть сказанного.

За ним вошёл ещё один человек — моложе, лет двадцати девяти, в хорошем, но явно готовом костюме. Элиав Кац. Он не был представлен. Он сел за соседний столик, на расстоянии, с которого можно было слышать разговор, но нельзя было быть вовлечённым. У него было лицо человека, который привык ждать и запоминать.

Тавиев заметил его и ничего не сказал. У него самого был такой человек — Гецл Варшавский. Только Варшавский не сидел в зале. Он ждал в машине, и это было правильнее.

Мейлах поздоровался с Гольдштейном первым — короткий кивок, почти без прикосновения. Потом повернулся к Тавиеву. Протянул руку.

— Зорах. Много слышал. Приятно познакомиться лично.

Тавиев пожал руку. Сухо. Три секунды.

Гольдштейн смотрел на них, как смотрят на двух шахматистов, которые ещё не начали партию, но уже расставляют фигуры.

Официант принёс меню. Мейлах заказал воду без газа и стейк — прожарка *medium rare*. Тавиев заказал чай и салат. Гольдштейн не стал заказывать ничего — его чай ещё не остыл.

Первые пятнадцать минут разговора были ни о чём. О погоде. О пробках. О том, как изменился город за последние годы — строится, растёт, дышит. Это был ритуал, такой же обязательный, как мытьё рук перед едой. Настоящие переговоры начинаются не с главного — они начинаются с прощупывания.

Мейлах говорил легко, много шутил — негромко, сдержанно, но достаточно, чтобы создать впечатление человека открытого и неопасного. Тавиев слушал больше, чем говорил. Это была его старая тактика: дать собеседнику выговориться, позволить ему заполнить тишину словами, которые он потом не сможет взять обратно.

Гольдштейн не участвовал в разговоре. Он сидел чуть в стороне, пил чай и запоминал.

Первый сигнал прозвучал, когда разговор наконец коснулся дела. Тавиев заговорил о расширении. Ему нужно было финансирование под новый производственный комплекс. Сумма — двадцать три миллиона долларов. Обеспечение — часть акций холдинга. Доля в проекте — обсуждаемая.

Мейлах слушал, поправляя очки. Когда Тавиев закончил, он помолчал ровно столько, сколько требовалось, чтобы пауза была замечена, но не стала неловкой.

— Двадцать три, — повторил он. — Это серьёзно.

— Поэтому я здесь, — сказал Тавиев.

— А почему не банк? Под такой проект банк даст деньги. Может, не под самый сладкий процент, но даст. У тебя активы, репутация, история. Банки такое любят.

— Банк — это долго. Мне нужно быстрее.

— Быстрее — это дороже. Ты же понимаешь.

Тавиев кивнул. Он понимал. Быстрее означало, что тот, кто даёт деньги сейчас, получает не только процент. Он получает рычаг.

— Как оценим? — спросил Мейлах. В этом мире не говорили «сколько стоит». Говорили «как оценим». Потому что цена — это то, что написано в прайсе. А оценка — это то, о чём можно договориться.

— Независимый аудит. Плюс двадцать процентов к рыночной за перспективу.

Мейлах улыбнулся. Улыбка была вежливой, но в ней читалось: «Ты думаешь, я куплюсь на это?»

— Плюс двадцать — это за риск. Но риск здесь, если я правильно понимаю, не только рыночный. У тебя есть партнёры, о которых ты не говоришь.

Тавиев не изменился в лице. Гольдштейн отметил это как хороший признак.

— У всех есть партнёры, о которых не говорят, — сказал Тавиев.

— Разумеется. Я только хочу понять, с кем я буду делить бизнес, если мы договоримся.

— Ты будешь делить его со мной. Мои другие партнёры — это мои договорённости.

— Которые могут стать моими проблемами.

— Не станут.

Мейлах отпил воды. Разговор подошёл к первой невидимой черте. Дальше нужно было либо наступать, либо отступать. Мейлах выбрал третье — обойти.

— Давай так, Берл. Я не говорю «нет». Я хочу посмотреть документы. Все. Не только то, что ты показываешь банкам. Я хочу увидеть реальную структуру, реальные обязательства, реальных бенефициаров. Если после этого меня всё устроит — мы говорим о деньгах.

— Это честно, — сказал Тавиев.

— Это бизнес, — поправил Мейлах. — Честность тут ни при чём.

Гольдштейн поставил чашку на стол. Звук получился чуть громче, чем нужно. Оба повернулись к нему.

— Когда будете готовы подписывать, — сказал Гольдштейн тихо, — позовите Нахмана. Он посмотрит бумаги. Я ему доверяю.

Нахман Дрейфус был юристом, который специализировался на корпоративных конфликтах. Он знал закон лучше, чем люди, которые его писали, и мог найти в любом договоре то, что другая сторона хотела спрятать. Он работал на того, кто платил, — принципиально, без эмоций, без лишних вопросов. Гольдштейн использовал его как фильтр: если Нахман говорил «чисто» — можно подписывать. Если говорил «есть нюанс» — нужно было читать мелкий шрифт.

Тавиев кивнул.

Дальше ужин покатился по накатанной. Еда, вежливые фразы, пара историй из прошлого, которые не значили ничего, но создавали видимость близости. Мейлах рассказал, как начинал в банке — без деталей, просто общий контур. Тавиев рассказал про первый завод — тоже без деталей. Оба понимали, что настоящие истории останутся при них, а то, что звучит сейчас, — это всего лишь смазка для механизма, который они запустили.

В какой-то момент Тавиев извинился и вышел в туалет. Мейлах проводил его взглядом и, не поворачиваясь к Гольдштейну, спросил:

— Он понимает, что через год его доли в проекте не останется?

Гольдштейн допил чай. Поставил чашку.

— Он понимает, что ты так думаешь.

— А ты что думаешь?

— Я думаю, что Берл строил бизнес двадцать пять лет. Он пережил три передела, две налоговые реформы и одну попытку рейдерского захвата. Он не дурак. Он устал. Это разные вещи.

— Усталость — это слабость.

— Усталость — это информация, — поправил Гольдштейн. — А информацию можно использовать по-разному.

Мейлах хотел ответить, но вернулся Тавиев. Он сел, посмотрел на часы — ровно полтора часа с начала ужина, можно закругляться, — и подозвал официанта. Счёт оплатил Тавиев. Это был его ужин, его приглашение, его жест. Мейлах не стал спорить. Он понимал, что оплата счёта в этом мире — не жест щедрости, а обозначение хозяина положения. Тот, кто платит, показывает, что может себе это позволить.

У выхода из ресторана Тавиева ждал Варшавский. Он стоял у машины — крупный, неподвижный, с лицом, на котором не отражалось вообще ничего. Мейлах мельком глянул на него и тут же отвёл взгляд. Он знал этот тип людей — бывшие силовики, которым не нашлось места в нормальной жизни, но нашлось в ненормальной. Они были удобны, пока платишь.

Элиав Кац подошёл к Мейлаху и что-то сказал ему на ухо — коротко, в несколько слов. Мейлах кивнул. Кац отступил на шаг назад, снова растворившись в фоне.

Машины разъехались. Первым уехал Тавиев — чёрный «Мерседес» с тонированными стёклами. За ним — Мейлах, на серебристом «Лексусе». Последним — Гольдштейн. Но прежде чем уехать, он набрал номер.

— Нахман, — сказал он в трубку, когда на том конце ответили. — Мейлах будет звонить тебе насчёт документов Тавиева. Ты проверишь их. Проверишь хорошо. И скажешь мне, что ты там увидел.

— А Мейлаху?

— Мейлаху скажешь то, что я разрешу.

Он положил трубку и поехал домой. Дождь кончился. На асфальте блестели лужи, и в них отражались огни фар — красные, белые, жёлтые, как сигналы системы, которая никогда не выключается.

Берл Тавиев сидел в машине. Варшавский вёл молча — он всегда молчал, когда не нужно было говорить. Город проплывал за окном, мокрый и равнодушный. Тавиев достал телефон. Нашёл номер. Нажал «вызов».

Гудок. Второй. Третий. На четвёртом ответили.

— Марк. Это Берл. Не спишь?

Марк Ландау на том конце провода помолчал. Это была его манера — пауза, которая стоила дороже слов. Пять секунд. Шесть. Когда он заговорил, голос был ровным и сухим, как протокол допроса.

— Слушаю тебя.

— Ты знаешь Мейлаха? Зорах Мейлах. Финансист. Мы сегодня встречались.

Ещё одна пауза. Короче, но тяжелее.

— Знаю.

— Что о нём думаешь?

Ландау не ответил сразу. Тавиев слышал, как он дышит — ровно, спокойно, как дышит человек, который привык контролировать не только себя, но и ситуацию вокруг. Наконец он сказал:

— Он умный. Слишком умный для человека, который не знает, где настоящая граница.

— Что это значит?

— Это значит, Берл, что он играет в игры, правил которых не понимает. Он считает деньги. Он хорошо считает. Но он не понимает, что некоторые цифры пишутся не в бухгалтерии, а совсем в других кабинетах. И когда он об эти цифры споткнётся, а он споткнётся, — он либо научится, либо его не станет.

Тавиев переварил это.

— Ты советуешь мне не работать с ним?

— Я советую тебе сказать ему спасибо за ужин. И не давать ему документов с синими чернилами.

— Что? — Тавиев не понял. — При чём тут чернила?

— При том, что синие чернила — это подлинник. Чёрные — копия. Если ты дашь ему документы с синими подписями, он сможет сделать с ними что угодно. Если дашь копии — он будет вынужден просить оригиналы. И ты будешь знать, что именно он просит. Это старая школа, Берл. Но ты же старую школу уважаешь.

Тавиев молчал. Он почувствовал себя идиотом — не потому что Ландау его унизил, а потому что он сам не подумал об этом. Двадцать пять лет в бизнесе, три передела, две попытки рейдерства, а он не подумал о цвете чернил.

— Понял, — сказал он наконец. — Спасибо, Марк.

— Не за что. И ещё, Берл.

— Да?

— Не ездь на встречи с ним без Варшавского. Даже если встреча будет в ресторане днём. Даже если там будут дети и цветы. Мейлах — не тот, кого нужно бояться. Бойся тех, кто стоит за ним. Ты их не видишь. Я их вижу. И я тебе говорю: они есть.

Ландау отключился. Тавиев убрал телефон в карман. Машина въехала в ворота его дома — старого особняка, который он купил десять лет назад и который с тех пор оброс пристройками, бассейном, зимним садом и системой охраны, стоившей как небольшой завод.

Он вышел из машины. Варшавский остался в салоне — он всегда ждал, пока Тавиев войдёт внутрь. Тавиев поднялся на крыльцо, открыл дверь, вошёл в дом.

В доме было тихо. Жена спала. Сын, наверное, где-то гулял — у него была своя жизнь, которую он строил отдельно от отца и часто поперёк его воли.

Тавиев снял туфли. Прошёл в кабинет. Открыл сейф. Достал папку с документами, которые собирался отдать Мейлаху. Посмотрел на подписи. Синие.

Он закрыл папку. Положил обратно. Завтра он сделает копии. Чёрно-белые.

Он ещё раз прокрутил в голове разговор с Ландау. Совет про чернила был общим — старая школа, привычка страховаться от подлогов. Но Тавиев, зная себя, решил проверить вообще все бумаги. Не только те, что готовил для Мейлаха. Все, где стояла его подпись. Особенно те, что он писал от руки.

Где-то на другом конце города Зорах Мейлах сидел в своей квартире и смотрел на тот же дождь, который кончился. У него в руке был стакан с виски — одним кубиком льда, не больше. Он не любил разбавлять.

Перед ним на столе лежала тонкая папка. В ней было три страницы. Первая — биография Берла Тавиева: родился, женился, начал бизнес, разбогател. Вторая — структура его холдинга: компании, аффилированные лица, ключевые партнёры. Третья — список уязвимостей. Сын. Жена, у которой, по неподтверждённым данным, есть любовник. Старый партнёр, который обижен и хочет выйти из бизнеса, но не может, потому что Тавиев не отдаёт долю.

И приписка внизу: «Тавиев консультируется с Марком Ландау. Ландау — подполковник, действующий или списанный с сохранением связей. Рекомендация: не вступать в прямой конфликт до выяснения степени контроля Ландау над ситуацией».

Мейлах допил виски. Посмотрел на папку. Потом перевёл взгляд на телефон.

— Элиав, — сказал он, когда на том конце ответили. — Завтра начнёшь копать под Ландау. Мне нужно знать, что он ест, с кем спит, кому должен и кто должен ему. Всё.

— Понял, — сказал Кац и отключился.

Мейлах встал. Подошёл к окну. Город внизу жил своей ночной жизнью — огни, машины, люди, которые ничего не знали о том, что происходило в кабинетах и ресторанах над их головами.

Рукопожатие состоялось. Первый ход был сделан. Игра началась.

В это же время Пинхас Гольдштейн сидел у себя дома, перебирал старые фотографии и думал о том, что два хищника на одной территории — это всегда интересно. Интересно и кроваво. А кровь, как известно, лучшая смазка для любого передела.

Он убрал фотографии в стол и погасил свет. Завтра будет новый день. Новые звонки. Новые встречи.

ГЛАВА 2. ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ

Двадцать пять лет назад Берл Тавиев не носил костюмов. Он носил спортивные штаны с оттянутыми коленями и китайскую кожаную куртку, которая трещала на морозе и пахла рыбой — он тогда крутился на рынке, и рыба была его первым товаром. И дело было не в том, что он разбирался в рыбе, просто рыба портится. Это был его первый урок: товар, который портится, учит тебя быстро принимать решения. Если ты ошибся — ты выкинул деньги в мусорный бак, а не переложил на полку до следующего сезона.

Рынок находился на окраине города — бетонные ряды, покрытые ржавым профнастилом, без отопления, с туалетом, в который нормальный человек не зашёл бы дважды. Торговали там все: старухи с укропом, кавказцы с мандаринами, дембеля с формой, которую они снимали с себя же и продавали, китайцы с пластмассовыми игрушками, которые ломались на третий день. И среди этого хаоса — Берл, двадцатисемилетний парень с экономическим образованием, которое ему оказалось некуда приткнуться, потому что экономика, которую он изучал, кончилась раньше, чем он получил диплом.

Он начал с одной точки. Арендовал её за наличные — не у хозяина рынка, а у бригадира, потому что прямых договоров тогда не существовало. Существовали понятия. Ты платишь бригадиру — тебя не трогают. Ты не платишь — у тебя сгорает точка. Не фигурально. Один раз при нём сгорела точка у парня, который решил, что он умнее всех и может договориться с администрацией напрямую. Парень пришёл утром, а там пепелище. Он постоял, посмотрел, плюнул и ушёл. Никто не вызывал пожарных. Никто не вызвал милицию. Никто даже не посмотрел в его сторону. Это был второй урок: есть правила, которые не записаны, но за их нарушение спрашивают быстрее, чем за записанные.

Тавиев платил вовремя. Он вообще всё делал вовремя — это была его стратегия, единственная доступная человеку, у которого не было ни связей, ни денег, ни физической силы. Он не мог наехать. Не мог подкупить. Не мог пригрозить. Он мог только быть полезным и не создавать проблем. И этого оказалось достаточно, чтобы через год у него было уже три точки. Через два — семь. Через три он уже вообще не торговал сам — он нанимал продавцов, а сам занимался логистикой, что на языке того времени означало: договаривался с водителями фур, чтобы они довозили товар и не воровали, договаривался с холодильниками, чтобы они не ломались в жару, и договаривался с бригадирами, чтобы они не поднимали плату за место каждую неделю.

Договариваться — вот что он умел. Не воевать. Не подавлять. Не запугивать. Он садился и разговаривал. Чай, сигареты, тихий голос. Он выяснял, что человеку нужно на самом деле — не то, что он говорит, а то, что у него внутри. Одному нужно было уважение — он получал уважение. Другому нужны были деньги — он получал деньги, но не сразу, а по частям, что создавало зависимость. Третьему нужен был покой — ему обещали покой, и он его получал, пока не мешал.

К тридцати годам Тавиев понял: рынок — это дно, с которого можно подняться, но на котором нельзя стоять. Слишком много людей, которые хотят кусок и не хотят расти. Он продал точки, взял деньги, добавил то, что скопил, и купил первый цех — полуразрушенный ангар на бывшей промзоне. Там он начал фасовать рыбу. Не продавать — фасовать. Разница была в том, что фасовка давала маржу втрое выше, чем перепродажа. Он нанял двадцать женщин, поставил конвейер, купил упаковочную машину. Через год он фасовал уже не только рыбу. Через два — строил второй цех. Через три — на него вышли люди, которые занимались не рыбой и не фасовкой, а тем, что называлось «обеспечением благоприятных условий для бизнеса». Проще говоря — крышеванием.

Это был четвёртый урок, самый важный. К Тавиеву пришли два человека. Они были вежливы — насколько вообще могут быть вежливы люди, у которых под пиджаком пистолет. Они объяснили, что теперь он будет платить им. Не за охрану — охрана у него уже была, он нанял отставных милиционеров. Он будет платить за то, чтобы его бизнес не трогали другие люди, у которых тоже есть пистолеты под пиджаками и желание заработать.

Тавиев выслушал. Задал три вопроса. Первый: сколько. Второй: кому именно он будет платить, фамилия и должность. Третий: что будет, если он откажется. На первые два вопроса ему ответили. На третий — нет. Ему просто показали фотографию его жены, снятую сегодня утром, когда она выходила из подъезда. Фотография была хорошего качества — значит, снимали не на мыльницу, а на профессиональную камеру с телеобъективом. Это означало, что за ним следят давно и серьёзно.

Он согласился платить. Но не просто так — он попросил встречу с тем, кто принимает решения. Ему отказали. Он попросил ещё раз — уже с деньгами, с первой выплатой наличными. Ему назначили встречу.

Так он познакомился с Пинхасом Гольдштейном. Тогда Гольдштейну было тридцать пять, он ещё не был старым игроком — он был молодым, но уже знал правила игры лучше большинства. Их первая встреча длилась двадцать минут. Тавиев сказал: «Я буду платить. Но я хочу понимать, за что именно. И я хочу, чтобы вы понимали: если мой бизнес вырастет, ваша доля вырастет вместе с ним. Вам выгодно, чтобы я рос». Гольдштейн посмотрел на него — не как на жертву, а как на партнёра, который ещё не понимает своего положения, но уже торгуется. Это ему понравилось. Он согласился.

С тех пор прошло двадцать два года. Тавиев вырос до производственного холдинга. Гольдштейн больше не брал с него денег за крышу — он вошёл в долю. Небольшую, но достаточную, чтобы иметь право голоса. И всё это время Тавиев помнил четвёртый урок: если ты не можешь победить систему — стань её частью так, чтобы система не могла победить тебя.

Но сейчас, стоя у окна своего кабинета на четвёртый день после ужина с Мейлахом, он чувствовал, что четвёртый урок перестаёт работать. Потому что система менялась. И он не знал, станет ли новая система считать его частью себя.

На столе лежали три стопки документов. Первая — аудит за последний год. Вторая — проект договора с Мейлахом. Третья — копии внутренних распоряжений, которые он пока не готов был показывать никому.

Документы с синими чернилами лежали отдельно. Он помнил слова Ландау и больше не делал ошибок.

Человек, который сидел в кабинете напротив него, не был Мейлахом. Это был Нахман Дрейфус — юрист, присланный Гольдштейном. Он приехал утром, без предупреждения, что само по себе было знаком: Гольдштейн не предупреждает, он ставит перед фактом. Дрейфус пил кофе — маленькими глотками, аккуратно, как всё, что он делал. Ему было тридцать восемь, но выглядел он старше: залысины, глубокие складки у рта, глаза человека, который слишком много читает и слишком мало спит. Одевался он в серое — всегда серое, разных оттенков, как будто не хотел привлекать внимание даже цветом.

— Я посмотрел структуру, — сказал Дрейфус, не поднимая глаз от бумаг. — Она хорошая. Крепкая. Ты строился на залоговых схемах, это видно. Каждый новый актив покупался под залог предыдущего. Это как строить башню из кубиков: если один вынуть — упадёт всё.

Тавиев не ответил. Он знал это. Он сам строил эту башню и знал, где у неё слабые места. Вернее, думал, что знает.

— Но есть нюанс, — продолжил Дрейфус. — Твой последний кредит, который ты брал под расширение портового терминала. Три года назад. Ты его закрыл?

— Да.

— Чем?

— Чем закрывают кредиты? Деньгами.

— Я видел платёжки, — сказал Дрейфус тем тоном, каким говорят «я видел достаточно, чтобы понять, что ты мне врёшь». — Ты закрыл его из выручки. Но выручка в том квартале была ниже, чем обычно. Ниже, чем требовалось для покрытия кредита. Откуда деньги?

Тавиев помолчал. Он вспомнил тот квартал. Осень, дожди, проблемы с таможней, задержка поставок. Выручка действительно просела. Но кредит был закрыт вовремя.

— Я взял займ у партнёра, — сказал он наконец.

— У какого партнёра?

— У Пинхаса.

Дрейфус впервые за весь разговор поднял глаза. Посмотрел на Тавиева. Не осуждающе — скорее оценивающе, как смотрят на пациента, который сообщил врачу важный симптом.

— Гольдштейн дал тебе займ, и ты не провёл его через бухгалтерию?

— Он дал наличными. Это было удобно.

— Наличные — это всегда удобно, — сказал Дрейфус. — И всегда проблема. Ты понимаешь, что если Мейлах найдёт эту дыру в балансе, он сможет интерпретировать её как сокрытие обязательств?

— Там нет дыры. Я вернул деньги через два месяца.

— Вернул наличными?

— Да.

— То есть проводок нет. Доказательств нет. Есть только твоё слово и, я полагаю, слово Гольдштейна. И если Мейлах решит использовать это, он скажет, что ты скрыл долг перед третьим лицом. А это — нарушение условий почти любого договора о партнёрстве.

Тавиев встал. Подошёл к окну. За окном висел липкий, свинцовый туман, скрывавший парковку и превращавший огни фар в размытые, кровоточащие пятна. Он думал о том, что Гольдштейн, который дал ему деньги тогда, возможно, уже знал, что когда-нибудь этот займ станет инструментом давления. Не на Тавиева — на того, кто захочет Тавиева съесть. Это был яд, вшитый в ткань бизнеса на всякий случай. И вот случай наступил.

— Что ты предлагаешь? — спросил Тавиев.

— Я предлагаю тебе самому рассказать Мейлаху об этом займе. До того, как он найдёт его. Честность обезоруживает.

Тавиев усмехнулся — невесело, одними губами.

— В этом мире честность не обезоруживает. Честность даёт противнику патроны.

— Тогда зачем ты меня спросил?

Тавиев не ответил.

Где-то в другом месте, на другом конце города, Элиав Кац сидел в машине и смотрел на подъезд дома, в котором жил Марк Ландау. Он сидел третий час. Машина была неприметная — старая «Тойота», которую не жалко бросить. Телефон лежал на пассажирском сиденье, заряженный, с отключённым звуком. В кармане — диктофон, хотя он знал, что диктофон ему не понадобится. Ландау не тот человек, который будет говорить лишнее на улице.

Кац выполнял задание Мейлаха: копать под Ландау. Не в смысле физического устранения — Мейлах не идиот, чтобы трогать действующего или полудействующего силовика. В смысле сбора информации. Привычки. Связи. Слабые места. У каждого есть слабые места. У Ландау, при всех его паузах и умении молчать, они тоже должны быть.

Но пока Кац не видел ничего. Ландау жил скромно — не в особняке, а в многоквартирном доме, хотя и в хорошем районе. Машина у него была служебная, без изысков. Любовниц, по крайней мере заметных, не наблюдалось. Алкоголь он, кажется, не пил совсем. Жена — если она была — не светила. Детей Кац не вычислил.

Единственное, что он узнал за три дня наблюдения: Ландау дважды в неделю ходил в один и тот же спортивный зал. Зал был закрытый, для своих, с охраной на входе. И там он

проводил по два часа. О чём это говорило? О том, что он поддерживает форму. Или о том, что в этом зале он встречается с кем-то, с кем не хочет встречаться в других местах.

Кац записал это в блокнот — не в телефон, в бумажный блокнот, который он сжигал после каждого дня наблюдения. Телефон мог быть взломан. Бумага, превращённая в пепел, — нет.

Он вспомнил, как сам начинал — не с наблюдения, а с грязи. Ему было двадцать два, когда отца повязали за долги. Не банковские — долги перед людьми, которым банки не нужны. Отец взял деньги под расширение своего маленького бизнеса, прогорел, не смог отдать. И тогда пришли люди. Сказали: «Твой отец нам должен. Либо он отдаёт, либо ты отработываешь». Кац выбрал второе — не потому что хотел, а потому что выбора не было. Отец к тому времени уже был никакой: пил, болел, лежал в больнице с язвой. Если бы к нему пришли ещё раз — он бы не выдержал.

Кац начал работать на этих людей. Сначала — мелкие поручения: отвезти, привезти, передать, подождать. Потом — серьёзнее: проследить, записать, запомнить. Потом — ещё серьёзнее: поговорить с человеком так, чтобы он понял. Он делал всё, что говорили, не задавая вопросов. Через три года долг отца был закрыт. Ещё через два — Кац уже не мог уйти, даже если бы хотел. Он слишком много знал. Слишком много видел. И люди, на которых он работал, не отпускали тех, кто слишком много знает.

Он не жалел об этом. Жалость была непозволительной роскошью в его положении. Он просто запоминал всё, что видел, и ждал момента, когда сможет использовать это знание для себя.

Сейчас он сидел и наблюдал за Ландау. И думал о том, что через год-два он, возможно, будет сидеть и наблюдать за Мейлахом. Или за Гольдштейном. Или за Тавиевым. Потому что в этом мире ты либо наблюдаешь, либо за тобой наблюдают. Третьего не дано.

Подъезд открылся. Вышел Ландау — в гражданском, но с военной выправкой, которую не скроешь никакой одеждой. Он сел в машину и поехал. Кац завёл мотор и поехал следом — на достаточном расстоянии, чтобы не быть замеченным, но достаточно близко, чтобы не потерять.

Через сорок минут Ландау въехал во двор здания, которое не значилось ни в одном общедоступном реестре. Никаких вывесок. Охрана на шлагбауме. Кац проехал мимо, не снижая скорости. Он знал такие места — закрытые ведомственные объекты, куда посторонним хода нет. Если Ландау поехал туда вечером, это могло означать что угодно: от рутинной работы до встречи с людьми, которые решают вопросы, не оставляя следов.

Кац отъехал на квартал, припарковался и стал ждать. Через два часа Ландау выехал обратно. И поехал не домой, а в ресторан — тот самый, где четыре дня назад ужинали Тавиев, Мейлах и Гольдштейн. Кац узнал адрес.

Он позвонил Мейлаху.

— Ландау в «Орле». Час назад был на закрытом объекте. Сейчас сидит в ресторане. Один. Ждёт кого-то.

— Жди, — сказал Мейлах. — Мне нужно знать, с кем он там.

Кац остался ждать. Он не знал, что в этот самый момент в ресторан входил Гольдштейн, чтобы встретиться с Ландау и обсудить то, о чём Мейлах пока даже не догадывался.

Зорах Мейлах положил трубку и посмотрел на часы. Половина девятого. Вечер только начинался. У него на столе лежали документы, которые прислал Дрейфус — предварительное заключение по Тавиеву, составленное так, чтобы Мейлах видел то, что Гольдштейн разрешил ему видеть. Никаких упоминаний займа от Гольдштейна. Никаких слабых мест, кроме общих фраз: «Рекомендуется дополнительная проверка», «Возможны скрытые обязательства», «Структура устойчивая, но требует мониторинга».

Мейлах читал эти фразы и понимал: Гольдштейн играет в свою игру. Он не даёт Мейлаху полную картину. Он даёт ровно столько, чтобы Мейлах заинтересовался, но недостаточно, чтобы он мог принять окончательное решение. Это была классическая тактика старой школы: держать партнёра в информационном голоде, заставляя его принимать решения на основе неполных данных.

Мейлах не обижался. Он сам использовал эту тактику. Просто сейчас он был не тем, кто держит, а тем, кого держат. И ему это не нравилось.

Он вызвал своего бухгалтера — старого, проверенного человека по имени Эфраим Финкельштейн. Финкельштейну было пятьдесят восемь, он работал на Мейлаха уже девять лет, и за эти девять лет Мейлах ни разу не усомнился ни в его компетентности, ни в его лояльности. Финкельштейн был из тех людей, которые не задают вопросов — просто делают, что сказано, и молчат.

— Эфраим, — сказал Мейлах, когда Финкельштейн вошёл. — Ты помнишь схему, которую мы обсуждали месяц назад? С долговой ямой для нового партнёра.

— Помню.

— Она нам понадобится. Но не так, как мы планировали. Партнёр — не мелкий предприниматель. У него есть связи, в том числе с людьми, которые носят погоны. Поэтому схема должна быть ювелирной. Никакого давления — только математика. Он должен сам прийти к выводу, что ему выгодно продать долю. Не нам. Вообще продать. А мы подберём с рынка. Чисто, спокойно, без скандала.

Финкельштейн кивнул. Он уже понял, что речь идёт о ком-то крупном. Но фамилию спрашивать не стал — не его дело. Его дело — цифры. А цифры, как известно, не имеют фамилий.

— Мне нужна будет структура долга, — продолжал Мейлах. — Не прямого — через цепочку. Мы даём деньги не ему. Мы даём их компании, с которой у него есть скрытые обязательства. Компания попадает в просрочку. Обязательства переходят на него. Он оказывается должен нам, даже не зная об этом. Так бывает?

— Бывает, — сказал Финкельштейн. — Если у него есть поручительства, о которых он забыл.

— А они есть?

— У такого человека, как ты описываешь, всегда есть поручительства. Просто он считает их формальностью.

Мейлах улыбнулся. Формальность — вот что убивает бизнесменов чаще, чем конкуренты. Они подписывают бумаги, не читая. Они дают поручительства, думая, что этого никогда не спросят. А потом приходит человек с калькулятором и говорит: «Вы нам должны». И всё — башня из кубиков начинает падать.

— Найди эти поручительства, — сказал Мейлах. — Мне не нужны его банковские кредиты. Мне нужны его личные обязательства перед партнёрами. То, что не лежит в банках. То, что он подписывал под чай и сигареты. Найди, и мы построим схему.

Финкельштейн вышел. Мейлах остался один. Он сидел и думал о том, что Тавиев, при всей своей осторожности, неизбежно сделает ошибку. Не потому что он глуп — он умён. А потому что старые правила больше не работают, а новых он ещё не выучил. И когда он споткнётся — Мейлах будет рядом. Не чтобы толкнуть. Чтобы подхватить. И забрать своё.

Тавиев в этот момент сидел за столом переговоров в своём офисе. Напротив него сидел человек, которого он знал двадцать лет — его финансовый директор, Менахем Гурвич. Гурвичу было шестьдесят. Он работал с Тавиевым почти с самого начала — ещё с тех времён, когда бухгалтерия помещалась в одной тетрадке, а налоги платили наличными в конверте инспектору лично в руки. Гурвич знал всё. Абсолютно всё. И именно поэтому он сейчас сидел и молчал, потому что знал: то, что Тавиев собирается ему сказать, ему не понравится.

— Менахем, — сказал Тавиев. — Мне нужна полная картина. Не та, которую мы показываем аудиторам. Реальная.

Гурвич поправил очки. Это был его жест — поправлять очки перед тем, как сказать что-то неприятное.

— Реальная картина хуже, чем ты думаешь, Берл.

— Насколько?

— Помнишь кредит, который ты брал под портовый терминал? Тот, который закрыл из денег Гольдштейна.

— Помню.

— Ты закрыл его, но есть нюанс. Когда ты брал наличные у Гольдштейна, ты подписал ему расписку. Простую, от руки, на сумму займа. С указанием срока возврата.

— Я вернул деньги через два месяца.

— Да. Но расписку ты не забрал.

Тавиев почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Он вспомнил тот вечер. Дождь. Кабинет Гольдштейна. Они сидели вдвоём, без свидетелей. Гольдштейн дал ему деньги — пачки в целлофане, перетянутые резинками. Тавиев написал расписку — на коленке, на листе из школьной тетради. Синей ручкой. А когда через два месяца привёз деньги обратно, Гольдштейн сказал: «Я расписку порву, не волнуйся». И Тавиев не проверил, порвал ли он её на самом деле.

— Откуда ты знаешь? — спросил Тавиев.

— Я не знаю. Я предполагаю. Если бы Гольдштейн порвал расписку — он бы сказал тебе об этом. А он промолчал. И когда я у него спросил месяц назад — случайно, за ужином, — он ответил, что не помнит никакой расписки. А Гольдштейн помнит всё. Значит, он не хочет, чтобы ты знал, есть она у него или нет.

Тавиев закрыл глаза. Расписка, написанная от руки синей ручкой, — это документ. Не копия. Подлинник. С его подписью. С датой. С суммой. Если она у Гольдштейна — он может предъявить её в любой момент. И потребовать долг, который уже погашен, но без доказательств погашения. Это называется «мёртвая петля». Классика девяностых. И Тавиев сам шагнул в неё, доверившись человеку, которого считал партнёром.

— Что предлагаешь? — спросил он, не открывая глаз.

— Поговори с ним. Попроси вернуть расписку. Или хотя бы подтвердить письменно, что долга нет.

— Если он не захочет?

Гурвич развёл руками. Ответ был очевиден: если Гольдштейн не захочет подтверждать отсутствие долга — значит, долг есть. Вернее, его нет, но Гольдштейну выгодно, чтобы он был. И он будет висеть над Тавиевым как дамоклов меч, пока ситуация не разрешится тем или иным способом.

Дождь за окном усилился. Тавиев открыл глаза и посмотрел на Гурвича.

— Менахем, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты подготовил ещё один комплект документов. Параллельный учёт. Всё, что у нас есть неформального: займы, поручительства, расписки, договорённости на словах. Я хочу знать, сколько верёвок на мне висит и кто держит концы. А с распиской разберёмся. Либо я её выкуплю, при первой же возможности. Либо сам что-нибудь найду на него, для будущего торга. Пока готовь документы.

— Это опасно, Берл. Если такой документ попадёт не в те руки...

— Поэтому он не попадёт. Ты сделаешь его в единственном экземпляре. От руки. И отдашь мне. Без копий. Без файлов. Без следов.

Гурвич кивнул. Он понимал: Тавиев готовится к войне. Не к той, где стреляют. К той, где предъявляют документы.

А в ресторане «Орёл» в этот момент за дальним столиком сидели двое. Гольдштейн и Ландау. Никто не видел, как они встретились. Никто не слышал, о чём они говорили. Даже Элиав Кац, который сидел в машине напротив входа, видел только две фигуры в окне — без деталей, без звука.

Разговор за столиком был недолгим. Ландау говорил мало — он вообще мало говорил. Гольдштейн задавал вопросы. И по тому, как Ландау отвечал — коротко, без эмоций, с паузами, — Гольдштейн понимал: ситуация меняется. Не завтра. Сегодня.

— Твой человек — Мейлах, — сказал Ландау. — Он копает под меня.

— Я знаю.

— Зачем он тебе такой?

— Он не мой. Он — инструмент.

— Инструменты иногда бьют по рукам.

— Я знаю, — повторил Гольдштейн. — Что ты предлагаешь?

— Я ничего не предлагаю. Я информирую. Твой инструмент работает слишком громко. Если он продолжит в том же духе, я его сломаю. Не потому что хочу. Потому что у меня есть начальники, которые не любят, когда в их огород заглядывают.

Гольдштейн отпил чай. Помолчал. Потом сказал:

— Ты не сломаешь его сейчас. Он нужен мне для одной сделки. Через месяц — делай с ним что хочешь.

— Через месяц он может стать проблемой, которую не решить без шума.

— Тогда реши её без шума сейчас. Но не трогай его. Тронь того, кто за ним стоит.

Ландау посмотрел на Гольдштейна. Пауза. Пять секунд. Шесть.

— Ты предлагаешь мне убрать человека Мейлаха, чтобы Мейлах понял, что он не главный?

— Я предлагаю тебе напомнить ему, где граница. Он умный. Он поймёт.

Ландау не ответил. Он допил кофе, встал и вышел. Гольдштейн остался сидеть. Он знал, что Ландау сделает то, что он предложил. Потому что это в его интересах. Граница — это то, на чём стоит Ландау. И если Мейлах её не видит, кто-то должен ему показать.

На следующий день всё завертелось быстрее, чем Тавиев ожидал. Мейлах позвонил в десять утра — не через секретаря, лично.

— Берл. Я посмотрел документы. Меня всё устраивает. Давай работать.

— Что ты предлагаешь?

— Двадцать три миллиона. Первый транш — десять, через неделю после подписания. Остальное — по графику. Обеспечение — двадцать процентов акций твоего холдинга. Доля в проекте — тридцать процентов мне, семьдесят тебе. Управление остаётся у тебя.

Тавиев молчал. Условия были хорошими. Слишком хорошими, чтобы быть правдой.

— Я хочу, чтобы документы проверил мой юрист, — сказал он.

— Конечно. Давай завтра встретимся у Нахмана. Он подготовит финальную версию.

Тавиев согласился. Он положил трубку и подумал: вот оно. Первый шаг. Деньги приходят. Но вместе с ними приходит зависимость. Двадцать процентов акций — это не контрольный пакет, но это блокирующий. Мейлах не сможет управлять холдингом, но сможет блокировать любое решение, которое ему не понравится. И если он захочет — он сможет сделать так, что Тавиеву придётся выкупать его долю обратно. За совсем другие деньги.

Но выбора не было. Без этих денег новый проект не запускался. Старые кредиты висели. Партнёры ждали. И если Тавиев сейчас отступит — рынок сочтёт это слабостью. А слабых на этом рынке не любят — их едят.

Вечером он снова сидел в машине. Варшавский вёл молча. Тавиев смотрел в окно и думал о расписке, которая, возможно, лежит в сейфе у Гольдштейна. О документах, которые готовит

Гурвич. О сыне, который опять где-то пропадает. О жене, с которой они не говорили по душам уже полгода.

Он думал о том, что двадцать пять лет назад у него не было ничего, кроме точки на рынке и патронов в нижнем ящике. И он не боялся. Сейчас у него было всё, и он боялся. Потому что тогда ему нечего было терять. А теперь — было что.

Машина въехала в ворота дома. Тавиев вышел. Варшавский, как всегда, остался в салоне. Тавиев поднялся на крыльцо. Открыл дверь. И увидел, что в гостиной горит свет.

Там сидел его сын — молодой, амбициозный, со стиснутыми челюстями. Ему было двадцать пять, он только что закончил магистратуру и хотел работать в бизнесе отца. Тавиев держал его в стороне — не из-за того, что не доверял, а из-за того, что хотел уберечь. Но сейчас, глядя на сына, он понимал: тот не хочет, чтобы его от чего-то защищали. Он хочет в игру.

И он в неё войдёт. Рано или поздно. А когда войдёт — станет либо союзником, либо разменной монетой в руках тех, кто играет против Тавиева.

Тавиев прошёл мимо сына, не сказав ни слова. Поднялся в кабинет. Открыл сейф. Достал папку с документами, которую подготовил Дрейфус. Начал читать — внимательно, строчку за строчкой, пытаясь найти то, что Дрейфус не вписал, а Мейлах наверняка уже знает.

Где-то в городе Элиав Кац докладывал Мейлаху о результатах наблюдения за Ландау. Где-то ещё Менахем Гурвич сидел над бумагами и составлял параллельный учёт — тот самый, который мог спасти или погубить Тавиева. Где-то в своём доме Пинхас Гольдштейн перебирал старые фотографии и ждал. А где-то в другом месте Марк Ландау отдавал распоряжение — короткое, из нескольких слов, — которое должно было напомнить Мейлаху, где проходит граница.

Первые деньги ещё не перешли из рук в руки. Но машина уже была запущена. И каждый, кто сидел в ней, думал, что управляет ею.

Ошибались все.

Кроме, возможно, того, кто эту машину сконструировал. Но кто это был — пока не знал никто. Даже сам конструктор.

ГЛАВА 3. ИНФОРМАЦИЯ — ПЕРВЫЙ АКТИВ

Ривка Шорр знала о смерти женщины по имени Дина Рапопорт больше, чем кто бы то ни было, включая следователя, который вёл это дело семь лет назад и закрыл его за отсутствием состава преступления. Она знала не только то, что было в официальном заключении, но и то, чего в нём не было. А отсутствовали там две страницы — те самые, на которых эксперт-почерковед подтверждал, что подпись на последнем документе, подписанном Диной перед смертью, не является её подписью.

Эти две страницы лежали в сейфе у Ривки. Не в банке. Не в офисе. В частном доме, в подвале, в стальном ящике с кодовым замком, который она открывала раз в полгода, чтобы убедиться, что бумаги на месте. Это была её страховка. Не на чёрный день — на тот день, когда ей понадобится, чтобы человек по имени Зорах Мейлах сделал то, что ей нужно.

Дину Рапопорт она знала лично. Не близко — они пересекались на нескольких приёмах, обменивались вежливыми фразами. Дина работала в банке, где Мейлах тогда возглавлял кредитный департамент. Она была младшим бухгалтером, тридцать два года, незамужняя, без детей. Тихая, старательная, с глазами человека, который боится ошибиться. В банке она занималась проводками по особым счетам — тем самым, через которые Мейлах гонял деньги клиентов так, что налоговая не видела ни входа, ни выхода. Дина не была соучастницей в полном смысле слова — она просто делала, что говорили. Ставила подписи. Заверяла бумаги. А когда Мейлаху понадобилось вывести особо крупную сумму, именно её подпись оказалась на платёжке, которая ушла в офшор.

Через месяц после этого платёжкой заинтересовалась служба внутреннего контроля банка. Ещё через неделю Дину вызвали на беседу. А ещё через три дня она выбросилась из окна своей квартиры на девятом этаже.

Официальное заключение: самоубийство на фоне депрессии. Следователь, который вёл дело, получил повышение через полгода — его перевели в другой город с более высокой должностью и квартирой от ведомства. Никто не связал эти два события. Кроме Ривки.

Она тогда только начинала строить свою медиасеть — несколько сайтов, один печатный еженедельник, связи в редакциях более крупных изданий. Кто-то из её источников в правоохранительной системе скинул ей копии материалов дела — просто так, на всякий случай, как скидывают друг другу информацию люди, понимающие её ценность. Ривка прочитала. И отложила. Она понимала: публикация сейчас уничтожит Мейлаха, но не даст ей ничего. А если подождать — материал превратится в инструмент.

Семь лет она ждала. И вот теперь Мейлах стал игроком, с которым ей предстояло говорить на одном поле. Не как соперница — как человек, у которого есть то, что ему нужно. Информация — это валюта. И Ривка умела её тратить.

Она сидела в своём кабинете на шестом этаже бизнес-центра. Кабинет был обставлен так, чтобы производить определённое впечатление: светло-серые стены, минимум мебели, на столе — ни одной лишней бумаги. Никаких семейных фотографий. Никаких личных вещей, кроме кружки с надписью «Не верь, не бойся, не проси» — подарок от человека, который знал её лучше, чем она хотела бы, чтобы её знали.

Перед ней лежал телефон. Она ждала звонка. Не от Мейлаха — от человека, который должен был передать Мейлаху сигнал.

Сигнал был простым. Неделю назад в одном из её изданий вышла короткая заметка — не на первой полосе, даже не на второй. В разделе «Экономика», среди прочих новостей. Заметка сообщала о том, что «ряд кредитных организаций, по данным источников, могут столкнуться с пересмотром итогов приватизации некоторых активов в середине нулевых». Никаких имён. Никаких фамилий. Только общая формулировка, под которой мог скрываться кто угодно. Но

Мейлах — если он умел читать — должен был понять, что речь идёт о банке, где он работал. И о тех самых активах.

Это была не угроза. Это было приглашение к разговору.

Телефон зазвонил в три часа дня. Номер был незнакомый.

— Ривка, это Зорах Мейлах.

Голос был спокойным. Даже слишком спокойным. Так говорят люди, которые потратили несколько дней на анализ ситуации и пришли к выводу, что злиться бессмысленно — нужно договариваться.

— Зорах. Я ждала твоего звонка.

— Я так и понял. Где мы можем встретиться?

— В парке. Через час. У центрального входа. Я гуляю с собакой.

Мейлах помолчал. Встреча в парке означала, что разговор будет на её территории, по её правилам. Офис — это его среда, конференц-зал — среда юристов. А парк — это открытое пространство, где невозможно поставить прослушку, потому что слишком много шума, и невозможно записать разговор на камеру, потому что слишком много движения. Ривка выбрала место так же тщательно, как выбирала формулировки для заметки.

— Хорошо, — сказал он. — Через час.

Она положила трубку и посмотрела в окно. Дождь, ливший последние дни, кончился. В парке сейчас мокро, в меру пусто и тихо. Идеальное место для разговора о мёртвых.

Через час она стояла у центрального входа в парк. Собака — чёрный лабрадор по кличке Ашер — сидела у ноги. Собака была спокойной, но крупной. Ривка не боялась Мейлаха — физически он был неопасен, он вообще решал вопросы не руками. Но присутствие собаки давало ей дополнительное преимущество: когда она наклонялась к псу, чтобы поправить поводок, у неё появлялась пауза, чтобы подумать над ответом.

Мейлах пришёл ровно через час, минута в минуту. Один. Без Каца, без охраны, без водителя. Он был одет в длинное тёмное пальто и держал руки в карманах. Со стороны они выглядели как двое знакомых, случайно встретившихся на прогулке.

— Хорошая собака, — сказал Мейлах, когда они пошли по аллее. — Давно у тебя?

— Пять лет. Он не кусается. Если не давать команду.

Мейлах оценил шутку — уголок рта дрогнул.

— Я прочитал твою заметку, — сказал он без перехода. — Ты хочешь, чтобы я знал, что у тебя есть материал.

— У меня нет материала, Зорах. У меня есть понимание. Понимание того, как некоторые люди решают некоторые проблемы.

— Это угроза?

— Это констатация. Ты занимаешься бизнесом. Я занимаюсь информацией. Иногда наши интересы пересекаются. Когда они пересекаются — я хочу, чтобы мы понимали друг друга правильно.

Мейлах остановился. Они стояли у старого дуба, мокрого после дождя, с облетевшей наполовину листвой. Ривка отпустила поводок — Ашер отошёл на несколько шагов и сел, глядя на хозяйку.

— Чего ты хочешь? — спросил Мейлах. Голос его стал суше.

— Я хочу, чтобы ты помнил: есть вещи, которые я знаю. И есть вещи, которые я могу узнать. Твоя сделка с Тавиевым — это твоё дело. Меня она не касается. Но если в какой-то момент ты решишь, что твои интересы распространяются на мои медиа — например, тебе понадобится, чтобы какая-то публикация не вышла или, наоборот, вышла, — ты придёшь ко мне. Не к моим редакторам. Не к моим владельцам. Ко мне. И мы договоримся.

— А если я решу, что могу обойтись без тебя?

Ривка посмотрела на него. Взгляд был прямым, без вызова, но и без страха.

— Тогда я выпущу материал, который у меня есть. Не тот, о котором ты думаешь. Материал о женщине, которая умерла семь лет назад. О Дине Рапопорт. О том, как её подпись оказалась на платёжке, которую она не подписывала. О том, как исчезли две страницы из экспертизы. И о том, кто был её начальником в тот месяц.

Мейлах не изменился в лице. Он был хорош — Ривка отметила это про себя. Большинство людей при имени «Дина Рапопорт» побледнели бы или начали бы спорить. Мейлах просто стоял и смотрел на неё, как смотрят на шахматную доску, когда противник делает неожиданный, но не смертельный ход.

— У тебя нет доказательств, — сказал он. — Официальная экспертиза уничтожена, дело закрыто.

— Официальная — да, — ответила Ривка. — Но ты же умный человек, Зорах. Ты же не думаешь, что старый эксперт, которого заставили лгать, не оставил себе страховку? Попробуй догадаться, о чём речь.

Мейлах промолчал, но Ривка увидела, как дрогнул желвак на его щеке.

— У меня на руках то, что он спрятал перед смертью, — продолжила она тихо. — Две страницы. Его личные выводы и образцы для сравнения. Для прокуратуры этого хватит, чтобы поднять дело из могилы и назначить новую проверку. А для тебя... это может стать концом. Подумай сам.

— Это блеф, — сказал Мейлах, но голос его звучал уже не так уверенно.

— Информация — это рынок, Зорах. Ты покупаешь. Я покупаю. Иногда я получаю что-то, что не покупала, — просто потому что мёртвые люди хотят быть мне полезными. Я не собираюсь ничего доказывать тебе. Я профессионал своего дела, и ты это знаешь.

— Чего ты хочешь сейчас? — повторил он. — Конкретно.

— Сейчас — ничего. Я хочу, чтобы ты знал: я храню твой скелет хорошо. Он лежит в надёжном месте. Но если ты когда-нибудь решишь, что мои медиа — это твои медиа, если ты попытаешься давить на моих людей или заходить ко мне через административный ресурс, я отпущу этот скелет гулять. Он пойдёт в прокуратуру. В прессу. В Интерпол. И тебе придётся долго объяснять, почему женщина, которая работала под твоим началом, выбросилась из окна через три дня после того, как её вызвали на беседу. И почему экспертиза, которая могла бы тебя оправдать, исчезла из дела.

Мейлах смотрел на неё. Она не отводила взгляда. Ашер, почувствовав напряжение, тихо зарычал — не на Мейлаха, а просто в воздух, как собаки рычат на грозу.

— Ты играешь в опасную игру, Ривка.

— Я играю в единственную игру, которая здесь есть. Ты играешь в неё же. Просто у тебя деньги, а у меня — информация. Что из этого опаснее, пока неясно.

— Ты понимаешь, что я могу сделать так, что твои медиа закроют за неделю?

— Понимаю. А ты понимаешь, что за эту неделю я успею опубликовать всё, что у меня есть? Не только на тебя. На многих. И тогда проблемы начнутся не у меня, а у тех, кто тебя прикрывает. Им это не понравится. И они спросят с тебя.

Мейлах отвёл взгляд первым. Это была маленькая победа, но Ривка не обольщалась. Она знала: он не сдался. Он просчитывает варианты.

— Допустим, — сказал он наконец. — Допустим, мы поняли друг друга. Что дальше?

— Дальше — ничего. Ты занимаешься Тавиевым. Я занимаюсь своими делами. Мы не мешаем друг другу до тех пор, пока это выгодно обоим.

— А когда станет невыгодно?

— Тогда мы встретимся снова. И обсудим новые условия.

Мейлах коротко кивнул — не соглашаясь, а принимая к сведению. Потом развернулся и пошёл к выходу из парка. Ривка смотрела ему вслед. Она знала: этот разговор ничего не решил. Он только отложил конфликт. Мейлах не из тех, кто прощает давление. При первой возмож-

ности он попытается убрать её — не физически, а через медиаполе, через административные рычаги, через её партнёров. И она должна быть готова.

Она наклонилась к Ашеру, потрепала его по холке. Пёс лизнул ей руку. Они пошли по аллее дальше — мимо мокрых скамеек, мимо пустого фонтана, мимо редких прохожих, которые не знали и не могли знать, что только что перед ними прошёл разговор, от которого зависело много больше, чем казалось со стороны.

Вечером Ривка сидела в своём доме и просматривала почту. Среди обычного мусора — пресс-релизы, приглашения, счета — было одно письмо без подписи. Она открыла его. Внутри — одна фотография. Её дочь, семнадцатилетняя Лия, стояла у входа в свою школу. Рядом с ней — молодой человек, которого Ривка не знала. Он улыбался. Лия тоже улыбалась. Под фотографией — короткая подпись: «Мама, познакомься, это Давид. Он такой заботливый».

Ривка смотрела на фотографию три минуты. Потом закрыла ноутбук. Потом открыла снова. Переслала фотографию человеку, который занимался её безопасностью — бывшему оперативнику из отдела по борьбе с киберпреступлениями по имени Шимон Гурфинкель.

«Найди, кто это. Всё, что можно. Вчера», — написала она.

Ответ пришёл через сорок минут: «Парень — студент, двадцать один год, учится в том же городе. Работает официантом в баре. Никаких связей с кем-либо из известных нам лиц. Чистый. Слишком чистый».

Ривка откинулась на спинку стула. Слишком чистый. В её мире это означало только одно: парень был инструментом, который подготовили заранее. Кто-то знал о её дочери. Кто-то выстроил знакомство так, чтобы она узнала об этом не сразу. И этот кто-то не был Мейлахом — у Мейлаха пока не было времени на такую операцию. Это был кто-то ещё. Кто-то, кто наблюдал за ней давно и ждал момента.

Она не спала двое суток.

На третьи сутки она приняла решение. Дочь она заберёт из школы. Не сейчас — это вызвало бы подозрения и спровоцировало бы ответные действия. Она выждет паузу и сделает это тихо, под предлогом семейных обстоятельств. А пока — она будет играть в игру, которую ей навязали. Играть так, как умела: собирая информацию и ничего не показывая.

Тем же вечером Элиав Кац докладывал Мейлаху о результатах наблюдения за Ландау.

— Он встречался с Гольдштейном, — сказал Кац, стоя у стола в кабинете Мейлаха. — Третьего дня, в «Орле». Я видел их вместе в окне. О чём говорили — неизвестно. Но после встречи Ландау уехал на закрытый объект, а Гольдштейн остался в ресторане ещё на сорок минут. Один.

Мейлах слушал, откинувшись в кресле. Он думал о том, что Гольдштейн и Ландау — это связка, которую он пока не понимал. Гольдштейн был старым игроком, Ландау — силовиком. Они могли обсуждать что угодно: от передела рынка до конкретной операции против Мейлаха. То, что Кац не знал содержания разговора, было плохо. Но сам факт встречи был достаточной информацией, чтобы насторожиться.

— Что по Ландау? — спросил Мейлах. — Есть слабые места?

— Пока нет. Он живёт как монах. Жена, если есть, не светится. Детей я не вычислил. Любовниц нет. Алкоголь не пьёт. Единственная зацепка — он регулярно бывает в закрытом спортзале. Там охрана, не пройти. Но я узнал, кто владелец зала. Это бывший сослуживец Ландау, некто Гуревич. В отставке.

— Это не слабое место. Это его силовое окружение.

— Возможно. Но я продолжу.

Мейлах кивнул. Он знал, что Кац найдёт что-то рано или поздно. Всегда находится. У каждого есть что-то, что он прячет. Просто нужно время.

— И ещё, — сказал Кац. — Тот партнёр Тавиева, с которым должен был говорить Варшавский. Разговор состоялся. Партнёр готов подписать отказ от претензий. Но он попросил гарантий.

— Каких?

— Чтобы его не трогали после того, как он уйдёт из бизнеса.

Мейлах усмехнулся.

— Гарантии даёт страховая компания. Я даю только обещания. Скажи Варшавскому, пусть передаст партнёру: он будет в порядке, пока будет молчать. Как только откроет рот — гарантии кончатся.

Кац записал это в свой блокнот — бумажный, который он сжигал каждый вечер. Потом вышел.

Мейлах остался один. Он думал о том, что его собственная информационная страховка становится слишком тонкой. Ривка знала про Дину Рапопорт. Ландау и Гольдштейн встречались за его спиной. Тавиев, судя по всему, начинал что-то подозревать. А он, Мейлах, пока контролировал только деньги. Но деньги в этом мире — не главный актив. Главный актив — информация. И по этому показателю он проигрывал.

Он вызвал Финкельштейна.

— Эфраим, — сказал он, когда старый бухгалтер вошёл. — Ты помнишь схему, которую мы обсуждали? С долговой ямой для Тавиева.

— Помню.

— Ускорься. Мне нужно, чтобы через две недели у нас был готовый механизм. Не на бумаге — в действии. Тавиев должен начать чувствовать, что у него под ногами горит земля. И пусть горит не сильно — так, чтобы он дёргался. А когда человек дёргается, он ошибается.

Финкельштейн кивнул. Он не спрашивал, зачем нужна спешка. Он просто записал задачу в свой внутренний реестр — тот, который хранился не в компьютере, а в голове.

— Ещё одно, — добавил Мейлах. — Ты знаешь кого-то, кто работал в банке «Инвест-кредит» семь лет назад? В кредитном департаменте.

Финкельштейн задумался.

— Там работала Дина Рапопорт. Она умерла.

— Это я знаю. Кто ещё? Кто мог видеть документы?

— Был один человек. Но он уже на пенсии, живёт за городом. И он вряд ли захочет говорить.

— А если с ним поговорит не следователь, а человек, который предложит ему хорошие условия?

Финкельштейн помолчал. Он понял, что Мейлах ищет способ нейтрализовать компромат. И понял, что его снова втягивают в то, о чём он предпочёл бы не знать.

— Я узнаю, — сказал он наконец. — Но без гарантий.

— Гарантии даёт только страховая компания, — повторил Мейлах. — Я даю деньги. Этого достаточно.

Финкельштейн вышел. Мейлах посмотрел ему вслед. Старый бухгалтер был ценным активом — знающим, молчаливым, лояльным. Но именно такие люди, подписывающие фиктивные документы по указанию начальства, потом сидят в тюрьме за то, что не смогли сказать «нет». И Мейлах знал, что если когда-нибудь придётся выбирать между своей свободой и свободой Финкельштейна, он выберет себя. Не потому что он жестокий. Потому что это бизнес.

Где-то в городе Менахем Гурвич заканчивал параллельный учёт. Он сидел в своём кабинете, за закрытой дверью, и писал от руки — как условился с Тавиевым. Никаких файлов. Никаких копий. Только бумага и ручка.

Список получался длинным. Займы от партнёров, не отражённые в балансе. Поручительства, выданные под честное слово. Расписки, о которых Тавиев забыл. И одна запись, кото-

рая насторожила Гурвича больше всего: три года назад Тавиев подписал поручительство за компанию, которая принадлежала его старому знакомому, почти другу. Компания была мелкая, занималась перевозками. Тавиев подписал поручительство по просьбе знакомого, не вникая в детали, — просто чтобы помочь человеку получить кредит. Сумма поручительства была небольшой — триста тысяч долларов. Но Гурвич, проверив цепочку, обнаружил, что эта компания месяц назад перешла к новому владельцу. А новый владелец был аффилирован с одной из структур, которые контролировал Зорах Мейлах.

Гурвич отложил ручку. Посмотрел на запись. Потом перевёл взгляд на телефон.

Он должен был позвонить Тавиеву. Должен был предупредить его, что Мейлах, судя по всему, уже начал строить долговую яму. Но он знал, что если он позвонит Тавиеву прямо сейчас, тот начнёт действовать — нервно, резко, возможно, сгоряча. А это было именно то, чего ждал Мейлах.

Гурвич решил подождать до утра. Он убрал бумаги в сейф, закрыл кабинет и поехал домой. Он не знал, что утром его вызовет к себе человек, которому он не сможет отказать, — Марк Ландау. И разговор этот изменит всё.

А в доме Тавиева в этот час было темно и тихо. Сам он сидел в кабинете, перед раскрытой папкой с документами. Он читал проект договора с Мейлахом — того самого, который они должны были подписать завтра у Нахмана Дрейфуса. Он читал его в пятый раз и всё больше убеждался: юридически договор безупречен. Но что-то в нём было не так. Не в тексте — в контексте. Мейлах согласился на все условия. Не торговался. Не спорил. Только попросил добавить пункт о праве первоочередного выкупа дополнительной эмиссии. Тавиев тогда не придал этому значения — стандартная формулировка, защита интересов инвестора.

Но сейчас, перечитывая этот пункт, он вдруг понял: если Мейлах получит право выкупа дополнительной эмиссии, а Тавиев по каким-то причинам не сможет выкупить её сам — например, из-за финансовых проблем, — Мейлах сможет увеличить свою долю с двадцати процентов до контрольного пакета. И сделает это без единого выстрела. Просто предъявит право и деньги.

Это была ловушка. Не на сейчас — на перспективу. Мейлах строил коридор, по которому Тавиев должен был сам зайти в угол.

Тавиев закрыл папку. Открыл сейф. Достал пистолет, посмотрел на него и убрал обратно. Стрелять было не в кого. Враг был не из тех, в кого стреляют. Враг сидел в документах, в договорённостях, в непрочитанных пунктах и в забытых расписках. И этот враг был опаснее любого человека с оружием, потому что он был терпелив.

Тавиев встал и подошёл к окну. За окном стояла ночь. Где-то вдалеке горели огни города — миллион окон, за каждым из которых жили люди, не знавшие ни о Мейлахе, ни о Ривке, ни о Ландау. Они жили своей обычной жизнью, платили налоги, ходили на работу. И даже не представляли, что в этот самый момент несколько человек, имена которых никогда не появятся в газетах, решали судьбу активов стоимостью в миллионы долларов. И судьбу людей, которые зависели от этих активов.

Тавиев задернул шторы. Завтра будет тяжёлый день. Завтра он подпишет договор. Или не подпишет. Это решит Нахман Дрейфус — человек, которому Гольдштейн доверял, но который работал на того, кто платит.

А это означало, что Тавиев до сих пор не знал, на чьей стороне Дрейфус на самом деле. И узнает он это только тогда, когда будет поздно.

ГЛАВА 4. ЧУЖИЕ РУКИ

Нахман Дрейфус не любил телефонные звонки. Он предпочитал бумагу — бумагу можно прочитать несколько раз, бумагу можно отложить и вернуться к ней через час, бумага не требует немедленного ответа и не выдаёт интонаций. Но сегодня телефон звонил не переставая, и каждый звонок требовал решения, которое нельзя было отложить.

Утро началось со звонка Гольдштейна.

— Нахман, завтра подписание у Тавиева и Мейлаха. Ты подготовил финальную версию договора?

— Подготовил, — сказал Дрейфус, глядя на две папки, лежавшие перед ним на столе. Одна была помечена синим стикером, другая — жёлтым. В синей лежал договор, который увидит Тавиев. В жёлтой — тот, который Дрейфус показывал Мейлаху. Они различались одним пунктом — тем самым, о праве первоочередного выкупа дополнительной эмиссии. В версии для Тавиева этот пункт был сформулирован так, что право выкупа ограничивалось долей инвестора на момент эмиссии. В версии для Мейлаха — так, что право распространялось на весь объём новой эмиссии без ограничений.

Это была не ошибка. Это была конструкция.

— Хорошо, — сказал Гольдштейн. — И ещё. Мейлах запросил у тебя полный аудит Тавиева. Ты ему что-то дал.

— Дал предварительное заключение. Без деталей. Как ты просил.

— Он просил детали. Будет давить. Что ты ему скажешь?

Дрейфус помолчал. Он знал, что Гольдштейн не просто спрашивает совета — он проверяет, как юрист поведёт себя под давлением.

— Я скажу ему, что полный аудит требует времени. Что Тавиев — сложная структура, много неформальных связей. Что если он хочет реальную картину, а не бумажку для налоговой, нужно ждать.

— А он хочет реальную картину?

— Он хочет её быстрее, чем она может быть готова. Это его слабость. Он думает, что деньги ускоряют всё. А информация не ускоряется деньгами. Она ускоряется только терпением.

Гольдштейн хмыкнул — это был его способ выразить одобрение.

— Держи меня в курсе, — сказал он и положил трубку.

Дрейфус откинулся в кресле. Он работал на Гольдштейна уже двенадцать лет — с тех пор, как ушёл из адвокатской конторы, где партнёры использовали его как черновую силу, не подпуская к серьёзным делам. Гольдштейн тогда только начинал строить свою неформальную империю и искал юриста, который не будет задавать лишних вопросов. Дрейфус подошёл. Он не задавал вопросов не потому, что был циничен — он просто рано понял, что закон в этом мире не существует отдельно от людей, которые его применяют. Можно быть идеальным юристом и проигрывать дела, потому что судья получил звонок. А можно быть просто хорошим юристом и выигрывать, потому что ты знаешь, кому и когда нужно позвонить.

За двенадцать лет он выстроил сеть связей, которая покрывала всё: арбитражные суды, регистрационные палаты, налоговые инспекции, нотариальные конторы. Он знал, какой нотариус закроет глаза на несоответствие подписей, какой регистратор примет документы без очереди, какой судья готов рассмотреть иск в день подачи. Он не покупал этих людей — он был им полезен. Иногда — деньгами. Чаще — информацией. Ещё чаще — тем, что решал их проблемы, которые они не могли решить официальным путём.

Сейчас он сидел и думал о том, что договор, который он составил, — это не просто документ. Это оружие. Оно выстрелит не завтра, не через месяц. Может быть, через год. Но когда

выстрелит — одна из сторон потеряет всё. И Дрейфус был единственным, кто знал об этом заранее.

Второй звонок раздался через полчаса. Это был Мейлах.

— Нахман, мне нужна информация по Тавиеву. Не то, что ты прислал. Реальная. У него есть скрытые обязательства. Я знаю это. Ты знаешь это. Гольдштейн знает. Я хочу увидеть цифры.

— Зорах, я дал тебе то, что есть на данный момент. Полный аудит займёт время.

— Сколько?

— Месяц. Может, два.

— У меня нет двух месяцев.

Дрейфус сделал паузу. Он ждал этого момента. Мейлах начинал давить, и это означало, что он нервничает. А нервничающий Мейлах — это Мейлах, который может совершить ошибку.

— Я могу ускорить, — сказал Дрейфус. — Но это будет стоить дополнительных денег. И это будет неофициально.

— Что значит неофициально?

— Это значит, что я получу информацию не через аудит, а через источники. Через людей, которые работают в структурах Тавиева. Это быстрее, но менее надёжно. И это не ляжет в основу иска, если ты захочешь судиться. Это для внутреннего пользования.

— Мне не нужен иск. Мне нужно знать, где у него слабо.

— Тогда дай мне неделю.

— Три дня.

Дрейфус помолчал. Три дня — это было мало, но достаточно, чтобы подготовить то, что он хотел подготовить.

— Хорошо. Через три дня ты получишь сводку.

Мейлах отключился. Дрейфус отложил трубку и посмотрел на папки. Через три дня Мейлах получит информацию — ту, которую Дрейфус сочтёт нужным дать. Не больше, не меньше. И эта информация будет направлять Мейлаха туда, куда Гольдштейн хотел его направить.

Это называлось «вести клиента» — старая юридическая техника, при которой юрист не просто исполняет поручения, а формирует картину мира, в которой клиент принимает нужные юристу решения. Дрейфус овладел этой техникой в совершенстве. Он не врал — он просто не договаривал. И в сухом остатке всегда выходило так, что клиент оставался доволен, а Дрейфус сохранял контроль над ситуацией.

В дверь постучали. Вошёл помощник — молодой парень, которого Дрейфус взял год назад и который пока ещё не понимал, в какую именно юридическую практику он попал.

— Нахман Давидович, к вам посетитель. Без записи. Говорит, срочно.

— Кто?

— Не представился. Сказал, что вы его знаете.

Дрейфус нахмурился. Он не любил посетителей без записи. Но ещё больше он не любил людей, которые приходили, не называя себя.

— Пусть войдёт.

В кабинет вошёл человек, которого Дрейфус не видел три года. Марк Ландау.

Он вошёл не как обычный посетитель — без приветствия, без рукопожатия. Просто открыл дверь, закрыл её за собой и сел на стул напротив стола. На нём был гражданский костюм, но держался он так, как держатся люди, которые даже в гражданском остаются при исполнении.

— Марк, — сказал Дрейфус, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Не ожидал.

— Я знаю. Поэтому пришёл без звонка.

Ландау положил руки на подлокотники. Он не оглядывал кабинет — он знал, где что стоит. Он вообще многое знал, и это всегда нервировало Дрейфуса.

— Ты работаешь с Мейлахом, — сказал Ландау. Это был не вопрос.

— Я работаю с Гольдштейном. Мейлах — его клиент.

— Не путай. Ты составляешь для Мейлаха документы. Ты консультируешь его. Ты даёшь ему информацию. Это значит, что ты на него работаешь.

Дрейфус не стал спорить. С Ландау спорить было бессмысленно — он всегда говорил только то, в чём был уверен.

— Допустим. Что ты хочешь?

— Я хочу, чтобы ты понимал: Мейлах — это временная фигура. Он думает, что он игрок. На самом деле он — инструмент. Инструменты иногда ломаются. Когда этот сломается, я не хочу, чтобы обломки задела тебя. И Гольдштейна.

— Ты предупреждаешь или угрожаешь?

— Я информирую. Разница в том, что на предупреждение нужно отвечать, а информацию — просто принять к сведению.

Ландау встал. Разговор был окончен так же внезапно, как начался.

— И ещё, — сказал он уже у двери. — Твой помощник, который сидит в приёмной. Он записывает, кто к тебе приходит и на сколько. Я бы на твоём месте поменял его. Он слишком разговорчив с девушками в кафе после работы.

Дрейфус ничего не ответил. Ландау вышел. Дверь закрылась.

Дрейфус остался сидеть. Он понял три вещи. Первая: Ландау следит за ним. Вторая: Ландау знает о нём достаточно, чтобы в любой момент сделать его жизнь невыносимой. Третья: помощника действительно придётся уволить.

Он нажал кнопку селектора.

— Зайди.

Помощник вошёл — молодой, старательный, ничего не подозревающий.

— Ты обедал вчера в кафе на углу?

— Да, а что?

— С кем?

— С подругой. Мы просто...

— Ты что-то рассказывал ей о посетителях?

Помощник побледнел. Дрейфус понял всё без дальнейших слов.

— Свободен. Завтра можешь не выходить. Расчёт пришлют по почте.

Помощник попытался что-то сказать, но Дрейфус поднял руку — жест, означавший, что разговор окончен. Парень вышел. Дрейфус посмотрел на закрытую дверь и подумал, что Ландау, при всей своей опасности, иногда бывает полезен.

В том же здании, этажом ниже, в кабинете Мейлаха шёл другой разговор. Эфраим Финкельштейн докладывал о результатах поиска поручительств Тавиева.

— Я проверил все его связи за последние десять лет, — говорил Финкельштейн, раскладывая на столе бумаги. — Банковские кредиты, займы у партнёров, личные поручительства. Он осторожен. Почти все обязательства закрыты или обеспечены активами. Но есть одно.

— Какое?

— Три года назад он поручился за компанию «Транзит-Логистик». Владелец — его старый знакомый, некто Шнеерсон. Сумма поручительства — триста тысяч. Небольшая. Но Шнеерсон месяц назад продал компанию. Новый владелец — фирма, зарегистрированная в офшоре. Я пробил цепочку. Офшор контролируется через кипрский траст. Траст, в свою очередь, связан с одним из фондов, в которых у тебя есть доля.

Мейлах нахмурился, пытаясь вспомнить.

— Это тот самый "спящий" фонд? Который мы использовали для офшорных схем ещё года три назад? Старая оболочка без реальных бенефициаров?

— Именно, — кивнул Финкельштейн. — Ты тогда взял её под контроль через кипрский траст. Формально она твоя. Фактически — ничья. Идеальный инструмент.

Мейлах откинулся в кресле и улыбнулся — впервые за день.

— А долги у этой компании есть?

— Пока нет. Но могут появиться.

Мейлах задумался. Если создать для «Транзит-Логистик» искусственную задолженность — например, взять кредит под залог её активов и не вернуть, — то обязательства перейдут на поручителя. То есть на Тавиева. Триста тысяч превратятся в три миллиона. А три миллиона, которых у Тавиева нет в свободном обороте, — в необходимость продавать активы. Или договариваться. Или отдавать долю.

Это была схема не быстрая, но верная. Она не требовала участия Мейлаха напрямую — на каждом этапе действовали люди, формально с ним не связанные. Юристы, бухгалтеры, номинальные директора — те самые «чужие руки», которыми делается вся грязная работа в этом мире.

— Запускай, — сказал Мейлах. — Тихо, поэтапно, без спешки. Мне не нужно, чтобы Тавиев узнал об этом раньше времени. Мне нужно, чтобы он узнал, когда будет поздно.

Финкельштейн кивнул и начал собирать бумаги.

— Есть ещё кое-что, — сказал он, помедлив. — Я наводил справки о той женщине, о которой ты спрашивал. Дине Рапопорт.

Мейлах обернулся.

— И что?

— Тот человек, бывший сотрудник банка, который мог видеть документы. Он согласился встретиться. Но он просит гарантий. Боится. Он понимает, о чём речь, и хочет быть уверен, что после разговора с ним ничего не случится.

— Дай ему гарантии.

— Какие?

— Те, которые он хочет. Деньги. Переезд. Защиту. Что угодно. Мне нужно, чтобы он подтвердил: материалы по тому делу были уничтожены. Или хотя бы что он не знает, где они сейчас. И ещё — мне нужно знать, кто ещё мог их видеть.

— Почему это важно?

Мейлах помолчал. Он не привык объяснять свои мотивы, но Финкельштейн был одним из немногих, кому он доверял достаточно, чтобы быть откровенным.

— Потому что эти материалы сейчас у Ривки Шорр. Она показала их мне. И она будет использовать их, когда ей понадобится рычаг. Я должен знать, что именно у неё есть и насколько это опасно. Если она сможет доказать, что та платёжка была подделана, у меня проблемы. Если нет — её рычаг стоит не больше, чем бумага, на которой он написан.

Финкельштейн понимающе кивнул и вышел. Мейлах остался стоять у окна. Он думал о том, что Дина Рапопорт — это прошлое, которое отказывалось умирать. Семь лет назад он был уверен, что дело закрыто навсегда. Следователь получил повышение. Экспертиза исчезла. Все свидетели молчали. И только одна женщина, которую он тогда вообще не рассматривал как угрозу, сохранила две страницы, способные перевернуть всё.

Он должен был признать: Ривка его переиграла. Не в главной партии — в эпизоде. Но этот эпизод мог стоить ему всей партии.

В другом конце города Гецл Варшавский сидел в машине и ждал. Он ждал уже два часа — с тех пор, как получил задание. Задание было не от Мейлаха и не от Тавиева. Задание было от Ландау.

Звонок раздался вчера вечером. Варшавский был дома, редкий случай, когда он мог позволить себе не быть на службе. Телефон зазвонил, и он увидел номер, которого не было в его записной книжке, но который он знал наизусть. Номер Ландау.

— Гецл, — сказал Ландау без приветствия. — Ты работаешь на мальчика. Это твоё дело. Я не лезу. Но есть один человек, который знает лишнее. Не о мальчишке. Обо мне. Не так, чтобы доказать. Но он может заговорить в неправильном месте.

— Кто? — спросил Варшавский.

— Есть такой Иона Шмерлинг. Раньше работал у Тавиева. Сейчас отошёл от дел. Живёт в пригороде. Торгует автозапчастями. Три недели назад он в частном разговоре упомянул, что знает кое-что о некоторых людях, которые решали вопросы по портовому терминалу. Он не назвал имён. Но он назвал должности. И одна из этих должностей — моя.

— Что он именно сказал?

— Он сказал: «Есть один подполковник, который за откат согласовал передачу участка под терминал в обход конкурса». Он не знал, что его слушают. Точнее — знал, но не понимал, что человек, с которым он пьёт пиво, записывает разговор.

— Кто записывал?

— Мой человек. Это неважно. Важно то, что Шмерлинг знает детали сделки, которой не должно было быть. И он может повторить это где угодно — например, когда к нему придёт налоговая или когда он решит, что ему нужны деньги, и пойдёт к следователю.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал?

— Ты с ним поговоришь. Не как с партнёром Тавиева — тот разговор уже был. Ты поговоришь с ним как с человеком, который должен забыть всё, что он знает. Всё. Не только про меня. Вообще всё, что касается работы на Тавиева и любых сделок, которые он видел.

— А если он не захочет забыть?

Ландау помолчал. Пять секунд. Шесть.

— Тогда ты сделаешь так, чтобы он захотел. Но без крайностей. Он должен остаться живым и дееспособным. Иначе начнут копать. Мне не нужны копающие.

Варшавский положил трубку и поехал собираться. Он понимал: это была уже не просьба Мейлаха. Это был приказ от человека, которому не отказывают. Ландау не был его прямым начальником. Но он был тем, кто в любой момент мог сделать жизнь Варшавского невыносимой — или просто прекратить её.

Сейчас Варшавский сидел в машине напротив дома Шмерлинга и ждал, когда тот выйдет. По его информации, Шмерлинг обычно выходил в магазин около семи вечера. Маршрут был один и тот же: через двор, мимо детской площадки, вдоль гаражей, к супермаркету на углу. У гаражей было темно. Там не было камер.

Варшавский ждал. Он не нервничал. Он вообще редко нервничал — работа отучила. Рядом с ним на пассажирском сиденье лежал небольшой чемоданчик. В нём были инструменты, которые могли понадобиться, если разговор пойдёт не по плану.

Он вспомнил, как начинал. Двадцать лет назад, сразу после армии, пошёл в милицию. Отслужил десять лет в уголовном розыске — научился говорить с людьми так, что они сами рассказывали то, что хотели скрыть. Потом реформа, сокращение, увольнение без выходного пособия. Он остался на улице с женой, двумя детьми и навыками, которые никому не были нужны в мирной жизни. Тогда его нашёл Гольдштейн — через старого сослуживца, который уже работал на него. Предложил работу. Варшавский согласился, не раздумывая. Работа была грязной, но платили хорошо. И главное — он снова чувствовал себя нужным.

Сейчас он сидел и ждал Шмерлинга. Он не знал, зачем Ландау понадобилось стирать память человеку, который давно отошёл от дел. Но он знал, что Ландау никогда ничего не делает просто так. Если Шмерлинг представлял угрозу — значит, у Ландау были основания так считать.

Дверь подъезда открылась. Вышел Шмерлинг — невысокий, грузный, в старой болоньевой куртке. Варшавский узнал его по фотографии. Он вышел из машины и пошёл следом.

У гаражей было пусто. Шмерлинг шёл не быстро, вразвалку. Варшавский догнал его в два шага.

— Иона.

Шмерлинг обернулся. Он не испугался — скорее удивился. Он не знал Варшавского в лицо.

— Вы кто?

— Я от Марка Ландау.

Лицо Шмерлинга изменилось. Страх пришёл не сразу — сначала было узнавание. Он знал, кто такой Ландау. И он понимал, что визит человека от Ландау не сулит ничего хорошего.

— Я ничего не говорил, — быстро сказал он.

— Говорил. Три недели назад. В баре «У старого моста». Ты сидел с человеком, которого считал другом. И рассказывал ему про портовый терминал и подполковника, который взял откат.

— Я был пьян. Я не помню, что говорил.

— Это плохо. Потому что человек, с которым ты пил, помнит. И он записал разговор на диктофон.

Шмерлинг побледнел. Он открыл рот, но не произнёс ни звука. Варшавский смотрел на него без злобы — просто как на объект, с которым нужно выполнить определённую работу.

— Ландау хочет, чтобы ты забыл всё, что знаешь, — сказал Варшавский. — Не только про терминал. Вообще всё. Все сделки, которые ты видел, когда работал на Тавиева. Все фамилии. Все суммы. Всё.

— Я забыл. Я уже забыл.

— Не верю. Ты говоришь, что забыл, потому что боишься. А через неделю, когда страх пройдёт, ты снова начнёшь болтать. Мне нужно, чтобы ты действительно забыл. На физиологическом уровне.

Варшавский открыл чемоданчик. Шмерлинг дёрнулся, но бежать было некуда — справа гараж, слева забор. Варшавский достал не оружие. Он достал папку с документами.

— Это материалы уголовного дела, которое может быть возбуждено против тебя по статье 159 часть 4 — мошенничество в особо крупном размере, — сказал он ровным голосом. — Три года назад ты участвовал в сделке по продаже оборудования для завода Тавиева. Оборудование было оформлено как новое, но по факту было восстановленным. Разница в цене — около восьмисот тысяч долларов. Твоя доля составила двести. Ты подписал акты приёмки. Здесь копии этих актов. И копия твоей подписи.

Шмерлинг затрясся. Он понял: это не угроза. Это реальный инструмент, который может посадить его на пять лет.

— Чего вы хотите? — спросил он шёпотом.

— Ты подпишешь вот это заявление, — Варшавский достал лист бумаги. — В нём ты подтверждаешь, что три года назад совершил мошеннические действия по сговору с неустановленными лицами, что твоя вина полностью доказана материалами, которые у тебя есть, и что ты готов возместить ущерб. Заявление будет храниться у Ландау. Если ты когда-нибудь скажешь хоть слово о портовом терминале или о любых других делах, которые ты видел, — заявление уйдёт в прокуратуру. И ты сядешь. Не за болтовню — за мошенничество.

— Но я не хочу подписывать...

— Тогда разговор будет другим.

Варшавский отвёл полу пиджака. Под пиджаком была кобура. Шмерлинг увидел её и обмяк. Он взял ручку, которую протянул ему Варшавский, и подписал заявление — не читая, трясушейся рукой. Варшавский убрал бумагу в чемоданчик.

— Хорошо. И запомни: ты ничего не знаешь. Ты ничего не видел. Ты ни с кем не говорил. Если кто-то спросит — ты мелкий торговец автозапчастями, который давно отошёл от дел и ничего не помнит. Всё.

Шмерлинг кивнул. Он плакал — беззвучно, одними слезами. Варшавский посмотрел на него, закрыл чемоданчик и пошёл обратно к машине. Он сделал свою работу. Он не испытывал ни злорадства, ни жалости. Он просто выполнил приказ.

Вечером того же дня Менахем Гурвич, финансовый директор Тавиева, сидел в своём кабинете и смотрел на телефон. Он должен был позвонить Тавиеву и рассказать о поручительстве за «Транзит-Логистик». Он должен был предупредить его, что Мейлах, судя по всему, уже начал строить долговую яму. Но он не звонил.

Ему мешало то, что произошло утром.

Утром его вызвал к себе человек, которому он не мог отказать. Это был не Ландау. Это был человек из налоговой инспекции — некто Гринберг, старый знакомый, с которым Гурвич когда-то решал вопросы по серым схемам Тавиева. Гринберг теперь занимал должность заместителя начальника инспекции и был должен Гурвичу несколько услуг.

Но сегодня он не выглядел как человек, который помнит о долгах. Он сидел в своём кабинете, смотрел в стол и говорил тихо, почти шёпотом.

— Менахем, я не могу больше прикрывать твоего шефа. Сверху пришёл запрос. Не ко мне — на уровень выше. Кто-то сдал информацию о махинациях с портовым терминалом. Конкретно — о неуплате таможенных сборов за два года. Ты знаешь эту историю?

Гурвич знал. Он сам помогал Тавиеву оформлять ввоз оборудования через подставную фирму, которая получала льготы по НДС и потом исчезала. Это была стандартная схема — её использовали почти все крупные импортёры. Но если за неё брались всерьёз, она тянула на статью 194 УК — уклонение от уплаты таможенных платежей. Срок — до пяти лет.

— Что за запрос? Откуда?

— Из Москвы. Или не из Москвы — я не знаю точно. Это не бумага. Это звонок от человека, которому не отказывают. Он сказал: «Будет проверка по таким-то счетам. Не мешать». Понимаешь? Не мешать. Это значит, что кто-то наверху дал отмашку. И мы не можем её отменить.

— Что будет с Тавиевым?

— Пока ничего. Проверка займёт недели три. Если найдут нарушения — а они найдут, если будут искать, — ему выставят доначисление. Крупное. Миллиона на два долларов в эквиваленте. Плюс пени, плюс возможное уголовное дело. Если он заплатит быстро — может, обойдётся без дела. Если нет — сядет.

Гурвич вышел из кабинета Гринберга с единственной мыслью: Мейлах. Это его работа. Он запустил проверку через своих людей в системе, чтобы ослабить Тавиева перед сделкой. Или чтобы заставить его принять условия, которые он иначе не принял бы.

Теперь Гурвич сидел и думал: если он расскажет Тавиеву о проверке, тот начнёт метаться. Начнёт искать выход. Возможно, наделает ошибок. Если не расскажет — Тавиев узнает сам через несколько дней, когда придёт официальное уведомление. И тогда спросит: почему молчал?

Он взял трубку и набрал номер Тавиева.

— Берл, это Менахем. Нам нужно встретиться. Срочно.

— Что случилось?

— Не по телефону. Я приеду через час.

Он положил трубку и начал собирать бумаги — все, что могли понадобиться для разговора. Параллельный учёт, который он закончил вчера. Копии поручительств. Выписки по счетам. И список людей, которые могли быть причастны к утечке информации о таможенных схемах.

Через час он сидел в кабинете Тавиева и рассказывал всё, что знал. Тавиев слушал молча. Когда Гурвич закончил, он встал и подошёл к окну.

— Значит, Мейлах запустил проверку. Чтобы надавить на меня до подписания.

— Похоже на то. Но это может быть не только Мейлах. У тебя есть и другие враги.

— Враги есть у всех. Но только Мейлаху выгодно, чтобы я был в слабой позиции прямо сейчас.

— Что будем делать?

Тавиев помолчал. Он вспомнил разговор с Ландау — тот самый, после ужина. Ландау предупреждал: не давай ему документов с синими чернилами. И он не дал. Но Мейлах нашёл другой путь. Он зашёл не через документы — через государство. Через проверку, которую нельзя остановить деньгами или связями, потому что приказ пришёл сверху, а наверху сидели люди, которым Ландау не указ.

— Мы будем играть по его правилам, — сказал Тавиев. — Пока. Ты подготовишь все документы к проверке. Всё, что можно показать, — покажи. Всё, что нельзя, — убери. Завтра я подпишу договор с Мейлахом. Он должен думать, что я ничего не знаю. Пусть расслабится.

— А проверка?

— Проверку мы переживём. Доначисление — заплатим. Уголовное дело — не дадим возбудить. У нас есть связи, Менахем. Не такие, как у Мейлаха, но есть. Я позвоню Ландау. Он должен помочь.

Гурвич кивнул. Он не был уверен, что Ландау поможет. Но он знал, что Тавиев не сдастся без боя. И это давало надежду — слабую, но единственную.

А в кабинете Мейлаха в это время сидел Элиав Кац и докладывал о результатах наблюдения. Он выглядел уставшим — третий день почти без сна, постоянные переезды, смена машин.

— Ландау встречался с Дрейфусом, — сказал Кац. — Сегодня утром. В офисе Дрейфуса. Через два часа после этой встречи Дрейфус уволил своего помощника.

Мейлах поднял бровь.

— Причина?

— Неизвестна. Но помощник до этого обедал с девушкой и, по слухам, рассказывал ей о посетителях Дрейфуса. Ландау мог узнать об этом и предупредить Дрейфуса. Или Дрейфус сам понял и подстраховался.

— О чём они говорили?

— Неизвестно. Кабинет Дрейфуса чистый — я проверял. Но сам факт встречи говорит о том, что Ландау продолжает координироваться с Дрейфусом. И через Дрейфуса — с Гольдштейном.

Мейлах встал. Он начинал понимать схему. Гольдштейн держит Дрейфуса. Дрейфус консультирует и его, и Тавиева, но на самом деле работает на Гольдштейна. Ландау — силовая опора Гольдштейна. Тавиев думает, что Ландау его защищает, но Ландау защищает не Тавиева — он защищает систему, в которой Тавиев является одним из винтиков.

А он, Мейлах, — чужак, который пытается войти в эту систему и перестроить её под себя. Ему не дадут.

Но он и не собирался спрашивать разрешения. Он собирался действовать быстро — быстрее, чем система успеет среагировать.

— Продолжай наблюдение за Ландау, — сказал он Кацу. — И ещё: узнай всё, что можно, о налоговой проверке, которая начинается у Тавиева. Мне нужно знать, кто её инициировал, на каком уровне и сколько времени она продлится.

— Проверка? — Кац не знал о проверке.

— Да. Это наш рычаг. Пусть Тавиев решает проблемы с государством. А мы пока займёмся его поручительствами.

Кац вышел. Мейлах остался один. За окном сгущались сумерки. Где-то в городе Варшавский докладывал Ландау о разговоре со Шмерлингом. Где-то Гурвич готовил документы к проверке. Где-то Ривка Шорр собирала информацию о человеке, который подослал «Давида» к её дочери. А где-то в кабинете Пинхаса Гольдштейна лежала старая расписка Тавиева, написанная синими чернилами, и ждала своего часа.

Машина работала. Все винтики крутились. Оставалось лишь ждать, какой из них первым сорвется с резьбы.

ГЛАВА 5. РАЗГОВОР ПО-ХОРОШЕМУ

Подписание назначили на десять утра в офисе у Нахмана Дрейфуса. Место выбрал сам Дрейфус — не потому, что ему так было удобно, а потому что нейтральная территория снижала риск того, что одна из сторон почувствует себя хозяином положения. Его кабинет для переговоров был обставлен именно под такие встречи: длинный стол, шесть стульев с одинаковыми спинками, никаких окон во всю стену, никаких картин, которые могли бы отвлечь или выдать вкус хозяина. Только стол, стулья, графин с водой и три стакана. Стаканов было три, потому что четвёртый — для Дрейфуса — стоял отдельно, на приставном столике, где лежали папки с документами.

Тавиев приехал первым, за пятнадцать минут. Он не хотел опаздывать и не хотел ждать в машине. Варшавский остался в коридоре — Дрейфус не пускал охрану в кабинет для переговоров, это было его железное правило. Тавиев сел на стул лицом к двери, положил руки на стол и стал ждать. Он выглядел спокойным, но Дрейфус, который сидел за своим столом и делал вид, что просматривает бумаги, заметил, что Тавиев слишком часто поправляет запонку на левом рукаве. Это был жест, которого Дрейфус раньше за ним не замечал. Значит, нервничает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.